

РАССКАЗЫ ПОЛИТРУКА



ПО КРУТОЗЕМУ ТИМАШЕВСКОМУ

Главное условие расставания соблюдено — плачущая жена не пошла следом, как обычно провожают на войну своих мужей жены, а сыну-семикласснику позволено было выйти за порог дома и проститься с отцом мужским рукопожатием.

Обернулся на углу улицы — сын посылал прощальный привет вскинутой рукой.

Досадливо махнул на него — иди, мол, в комнату, учи уроки!.. Сын согласно кивает головой, я вижу его улыбку: ладно, батя...

Но едва зашел за угол и все исчезло — дом, тонкая во всем фигура сына с поднятой рукой, — как внезапная острая боль прорезала меня, захватила дыхание, не дает идти. С трудом пересилил себя, поправил вещмешок за спиной и заторопился на вокзал.

Вот я отправляюсь на фронт, и, несмотря на исчезающее тягостное чувство расставания с семьей, у меня все настроено иначе, чем дома, пока я выполнял свои служебные дела, аккуратно являлся на работу. Тревога, что возникла с первого дня нападения на нашу страну, стала постоянной — несколько не утихла, она не покидала даже во сне. Зато я избавился от удручающего чувства вины перед теми, кто с первого же рассветного часа, 22 июня, вступил в бой с врагами и, не щадя себя, бьется насмерть. Каждый мужчина — воин, в такое время, как сейчас, его место на фронте. И только на фронте.

...Кубань.

Станица Тимашевская.

Здесь расквартировалось Тимашевское военно-политическое училище Крымфронта.

Первая военная зима.

Враг забрался в Крым. Нависла непосредственная угроза над Кавказом.

Фронту нужны воины, командиры, политработники.

Нужны резервы.

Еще темно, а в казармах, приспособленных из общественных зданий, раздается — «подъем!»

Вскакивают с нар курсанты. Некогда потягиваться, зевать. На то, чтобы одеться и обуться, совершить туалет, встать в строй поротно, дается три минуты.

Сто восемьдесят секунд!

Здесь не зевнешь.

— Проклятые обмотки! — клянут курсанты, клянут люто — готовы изорвать эти обмотки в клочья, — как назло не накручиваются выше ботинок, виток за витком, крепко, но и не сдавливая ноги.

Не только слышаны об этом — и по себе знаем, не впервые держим обмотки в руках, а вот почему-то не ладится с накручиванием. Кое-кто без обмоток, сунув их в карман, становится во второй ряд — авось отцы-командиры не заметят упущения. Обнаружат — замечание перед строем, а то и внеочередной наряд на уборку нужников и всякого мусора.

Чуть свет и до темна, с перерывами на завтрак, обед, ужин, идут занятия. То военные уставы, то политическая или строевая подготовка, то разборка и сборка матчасти с обязательным знанием любого

винтика и взаимодействия частей оружия, то тактические учения без условностей и поблажки, то огневая подготовка — стрельба из винтовки и автомата, пулемета, пистолета «ТТ», миномета ротного и батальонного. Правда, на боевые стрельбы из батальонного миномета не оказалось мин, их не хватало для фронта.

— Встать! Поднимается курсант.

— Лечь!

Плашмя, лишь выставив руки для смягчения удара, падает курсант в промокшую насквозь почву с застойными лужами, холодными до обжига.

В минуты перерыва окружают полкового комиссара. Ждут начала беседы, возможности задавать вопросы. Не всегда можно. Молчит полковой — молчи курсант.

Полковой комиссар из кадровых, в годах мужчина, хотя без бороды и усов, и голова острижена коротко под «польку», как у рядовых. «Ни к чему эта роскошь, только затруднит обработку раны, добавит хлопот в медсанбате», — услышали от него. Участник гражданской войны и всех военных кампаний до Хасана и Халхин-Гола, освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину, он — непререкаемый авторитет.

Занятия по тактике. Рота в наступательном бою.

Еще не вышли из Тимашевской — дышим запаленно. Кубанский чернозем, круто замешанный дождями с мокрым снегом, засасывает ноги, залепливает обмотки: не ходьба — мучение.

Но это еще «цветики», а «ягодки» впереди.

— Рота попала под пулеметный огонь проти-и-вника!

Заслышав голос командира, мгновенно валятся на землю курсанты, но кое-кто еще на ногах, тщетно пытается найти на пахоте хотя бы клочок жнивья, россыпь соломы или пригнанный откуда-то ветром колючий куст матрешки, перекати-поле. Вокруг голо, лишь успевшие осесть от дождей борозды с отстойными лужицами.

Вытаскивая с чавканьем ботинки, а вернее огромный ком липкого чернозема, эти курсанты не успевают переставить ноги, как их объявляют сраженными.

«Убиты», значит, какой может быть разговор!

А командир кричит — противник взял наступающих под минометный обстрел!

Кто из курсантов не делает даже попыток встать, другие приподнимаются на колени, не знают — лежать ли им, зарываться ли, окапываться, бежать вперед или назад. Только немногие, бороздя поле, выбиваются из последних сил, чтобы выйти из зоны поражения осколками мин.

И все время курсанты видят полкового комиссара — то справа, то слева, то среди них, рядом. В длиннополой серой шинели, с пистолетом в кобуре на ремennom поясе. Он успевает все увидеть, оценить и запомнить. Сейчас он безмолвен, ни в чем не подменяет командира. Просто он с нами. Даже когда переходит в соседнюю роту, курсанты убеждены — полковой комиссар замечает все, ему со стороны еще видней.

Объявлен перерыв — и полковой комиссар тут как тут. И уже тянутся курсанты к нему. Будто не приглядывался персонально, а видит не только выражение наших лиц — оторванную пуговицу или хлястик на шинели. Не крикнет, не обзовет, скажем, «мокрой вороной» или «курицей» при взгляде на измокшего в лужах, измазанного грязью. И все Александра Васильевича Суворова к месту привернет. Граф, мол, генералиссимус, вроде бы из бар барин, а по-солдатски жил, вместе в ученье, в походе, в бою. Ишь ведь как: каждый солдат должен знать свой маневр. А вы, без пяти минут политруки, но посыпались на вас мины — топчетесь, как привязанные. Соображать надо, понимать свой маневр. И скажет про настильный рассев минометных осколков, на необходимость броска вперед из зоны обстрела.

Все эти афоризмы — «тяжело в ученье — легко в бою», «сам погибай, но

товарища выручай», «русские прусских всегда бивали» — по-суворовски краткие и меткие, навсегда вошли в нашу лексику, обрели яркий смысл, пошли с нами в солдатскую гущу.

Возвращаемся с занятий на обед. Усталость засела в каждом мускуле, едва хватает сил вытягивать поочередно ноги из крутозема, схожего с размягченным свинцом. Спины ломит. Сутулимся. Ну-ка, не поддаваться! Полковой комиссар и годами старше, и званием выше, а выправка у него что надо.

Любой из нас знает — шинель у него, как у каждого, промокла за эти полдня, удвоилась в весе, липкий чернозем скрыл сапоги, превратил их в тумбы.

— Споем,— говорит полковой комиссар и улыбается, морщит кожу у глаз, оглядывает тяжело дышащих,— и все в колонне улыбаются, смотрят на старшего товарища.

Ведь ничего особенного не сказал комиссар, даже не поймешь — вопрос ли, приказание в этом слове «споем», а курсанты повеселели, приободрились.

— Какую?

— Запевалу вперед!

И колонна не вразброд чавкает грязью, привычно подлаживается к строевому шагу.

— Отставить,— слышен тот же негромкий голос комиссара.

Пообчистились. Помыли руки.

Паруют тарелки.

Когда же окажется она перед тобой? Алюминиевая ложка осмотрена так и этак, щербины и меты перечислены, ложка успела побывать черпаком вверх и вниз, стукнуть по столу.

Невозмогу — в желудке спазмы.

Соседи по столу опустили ложки в тарелки.

Запах лаврового листа доконал нас окончательно.

Наконец тарелка с «дымком» перед тобой. Варева наполовину (повара постарались!).

На второе макароны.

Не сразу приступаешь к еде — смотришь на грудку, видишь каждую

пшеничную трубочку,— сколько бы ты их съел?

Кладешь в рот поштучно. Жуешь — наслаждаешься, оттягиваешь неизбежное — глоток перетертых зубами в кашицу макарон.

Гляди не гляди — тарелка пуста.

Полковой комиссар обо всем знает, и о том, что встаем мы из-за стола без сытости, что съели бы впятеро, чтобы почувствовать сытость.

— Все, что положено курсанту по норме, закладывается в котел. Чего же вы хотите?

Полковой оглядывает нас строго, но вот снова морщится у него кожа у глаз, и в этих морщинках и во влажных зрачках светится лукавинка, мальчишья подначка.

— Скорее на фронт запроситесь!

По-прежнему оглядывает нас, замечает наши лица, их выражение.

— Больше об этом разговаривать не будем. Сами знаете, кто утверждает нормы питания.

И опять блеснули глаза в паутинке морщин:

— Эдаких мужиков разве курсантским пайком насытишь!

Вот где познали смысл, заключенный в слове «дорваться». Сигнал «отбой» — и сыпанули все на нары вдоль стен. Кряхтенье, кашель, возня, кое-где смешок. И уже замолкли. Спят курсанты.

Тишина.

Словно в казарме пусто.

Полумрак.

Светомаскировка. Прифронтовой режим.

Лишь где-то за полночь скрипнет спящий зубами. Кто-то вздохнет, перевернется на другой бок. Из рядов вдруг храпнут и, будто устыдясь, смолкнут тут же.

Сонной истомой, кажется, охвачен воздух, чуть теплящийся фитильный огонек лампы со стеклянным пузырем. Темнота придвинулась к углам, свалилась под нары.

Спать... спать... спать...

И вдруг от двери — зычно, на всю казарму:

— Подье-ем!.. В ружье-е!

И нет сна.

Спрыгивают и сваливаются с нар курсанты, рывком натягивают на себя гимнастерки, вскидывают руки, с лихорадочной поспешностью застегивают воротники, суют ноги в шаровары, следом в ботинки, накручивают обмотки и скорей за непросохшую, еще влажную шинель, за шапку-ушанку.

Винтовка в руках, подсумки с патронами здесь же — мгновенно в строй.

— Равня-яйсь!

Команды одна за другой.

За дверью непроглядная темь и сырой пронизывающий холод. Куда ставишь ногу — не видно, ботинки уходят в вязкую глубь, сразу же грязь налипает пудовыми комьями.

— Бего-о-ом! Тяжелое дыхание. Чавкающий глухой топот.

— Не отстава-ать!

Сиплое, нутряное дыхание. Месяц ноги тимашевский крутозем.

За последними домами остановка.

— Сброшен вражеский авиадесант!

Боевой приказ — уничтожить врага.

Поротно, стараясь не отстать, приступаем к выполнению боевого приказа.

Мутный рассвет без зари застаёт курсантов далеко от Тимашевской.

Отбой. По ночной тревоге мы отработывали тактическое учение по ликвидации авиадесанта противника.

Ускоренный марш в казармы.

Чистка оружия. Придирчивая проверка снаружи, но главное — дульной части винтовки и затвора, их смазки, проверка автоматов.

У кого замечено ржавое пятнышко — взыскание.

После завтрака занятия по дневному расписанию.

Никакого отступления от распорядка.

Не прошло и месяца — все втянулись в эту заполненную боевой подготовкой жизнь. Полную тягот, физического и нервного перенапряжения. У кого были животы, хотя бы подобия выпуклостей, — их не стало. Животы

запали, как запали и наши щеки. Тела стали суше, натренированное — ничего лишнего, одни мускулы.

Не оставляло нас только ощущение несытости, напоминало о себе на полевых учениях и в столовой, днем и ночью.

Успокаивали себя — скоро поедем по фронтовой норме со ста граммами. Услышав об этом, сдержанно улыбался полковой комиссар, переглядывался с теми курсантами, кто успел хватить фронтового лиха, кто знал, почему стоит фунт этого лиха.

Он знал многое, наш комиссар, чего мы не знали, не испытали. Он на ученье «гнул свою линию», как выразился один из курсантов, чтобы мы на себе, на своем горбу испытали солдатский труд таким, каков он есть, во всей его тяжести и во всей ответственности. А испытал солдатскую долю на собственном горбу, внутренне преклонились бы перед солдатом, навсегда научились уважать и делать все на передовой обдуманно, по-суворовски солдата беречь.

ТА ЛИ ЭТА ТАМАНЬ?

Ничего без причины не бывает. Даже во всяком «вдруг», «нежданно-негаданно» есть причины и обстоятельства, приведшие к ним. Так и с историей появления этого заголовка с вопросительным знаком.

Изначальной причиной явился досрочный выпуск курсантов Тимашевского военно-политического училища. Под Керчью враг прорвал фронт. Была весна 1942 года.

Старшина отобрал у нас старое ношенное-переношенное обмундирование, известное под маркой «БУ» — бывшее в употреблении. Вместо него выдал парадное, другого не оказалось, или это было вызвано спешкой, только обрядились курсанты в яркие синие брюки и оранжевые гимнастерки, а головным убором, вместо простой ни на что не претендующей пилотки, оказалась фуражка с алым околышем и черным козырьком.

Критически осматривали мы сами

себя и один другого. Вспоминали сцену встречи седоусым Тарасом Бульбой своих вернувшихся из бурсы сыновей Остапа и Андрея. «А ну-ка, повернись, сынку...»

Внешний вид не изобличал в нас фронтовиков с их скромной, всецело подчиненной маскировке формой.

Выдали еще вещмешки с продовольственным пайком, но не выдали оружия. Сказали — получите на месте прибытия. Тут-то курсанты узнали — отправляемся в Тамань.

Тамань...

Мы знали о ней по рассказу Михаила Юрьевича Лермонтова, мы видели Тамань сквозь романтическую призму гения. Море накатывалось на крутой берег, сверкало пеной у валунов. Ночное колдовство луны. Хата на берегу — «там нечисто» — пристанище контрабандистов. Янко в татарской бараньей шапке, удалой из удалых, кто, по словам слепца, «не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей». Его диковатая юная подруга, готовая разыграть внезапную страсть к постояльцу-офицеру, случайно раскрывшему тайну притона, схватка на лодке, едва не стоившая жизни офицеру...

И пусть не судят нас за романтически возвышенное представление о Тамани, тем более, что еще на пути к ней нас ждали совсем не романтические происшествия. Сказать хотя бы, что добирались до пункта назначения попутными автомашинами. По сути, каждый курсант предоставлен был самому себе. Кому повезло — такие усаживались рядом с шофером, кому нет, и таких оказалось больше, те тряслись в кузове, на поклаже, прикрытой брезентом и зелеными, в листьях, ветками.

Шофер получал удовлетворение от того, что мы обязывались смотреть в оба за воздухом. Тем более, обязанность эта не выглядела обузой, не требовала физических затрат. Всего-то — посматривай в небо, прислушивайся, не гудит ли «немец».

Курорт, а не война. Прорвавшиеся из почек листья переливались солнечным гляncем, зеленые ветви качались и

взмахивали, посылали воздушные поклоны. Молодая трава устлала всю землю, кроме избитой в прах дороги. Степной воздух прохладой обведал лица, мягко льнул к глазам, по-детски шептал то в одно, то в другое ухо, то в оба сразу. Из бездонного синего неба с белыми как хлопок облаками журчали жаворонки.

Теплынь.

Простор.

У Анапы заголубело море. Пустынное — ни паруса, ни дымка, с неуловимой далью. И опять пришло поэтическое лермонтовское чувство, глубокое и волнующее, его тончайшая живопись словом: «...в тумане моря голубом».

Гляжу — и все во мне в этом голубом, туманно-зыбком, едва уловимом, прекрасно-таинственном.

Чары моря.

Чары поэзии...

Сильный звук расколол воздух и тишину.

Ударило зенитное орудие.

Беззвучное белое пятнышко разрыва в синеве. Приглядываясь к нему, неожиданно увидел тонкий осиный силуэт вражеского самолета.

Шофер привычно успевает смотреть и за дорогой и не упускать самолет.

С опозданием дошел звук снарядного разрыва.

То одна, то другая машина съезжала в сторону, становилась впритык к строению, а чаще под деревья. Многие, среди них и наша, продолжали путь.

Солончаковая почва с белесым налетом сменялась сыпучим песком, полусохлыми болотинами. Деревьев не стало. Ржаво-бурые пятна перемежались с водяной растительностью. Камыш не успел разрастись, подняться во весь рост, но за полкилометра, а может, и дальше, он сливался в однообразно зеленые плавни.

Чаще попадаются узкие земляные щели, наспех открытые ямы — укрытия для машин.

Шофер не прикрывает дверцу, чтобы успеть выскочить и отбежать.

Тревога не проходит и не убавля-

ется, хотя внешне это не выказывается, вот разве шофер и те, кто в кузове, посматривают на небо. Все так же редки на нем белые облачка, но небесная синева представляется уже не безобидной,— оттуда, с высоты, может в любой момент спикировать с пронзительным визгом стальная оса.

И небо словно сгущает синеву, приобретает недобрый оттенок расплавленного свинца.

Машины то бегут, то с ревом буксуют, чтобы вновь ускорять свой бег. И любая на виду, как жук на столе.

Носоглотку першит от сухости.

Хочется побыстрее пересечь эту голую равнину, попасть в пункт назначения — в Тамань. И память не держит нелестное, мимоходом сказанное Лермонтовым об этом приморском городишке. Запомнилось более сильное — стихия моря и стихия людских страстей. И вовсе непонятно предчувствие встречи, как будто можно было увидеть тех, кто выведен причудливым воображением, кто придал им нетленность с красками жизни.

Уже и полдень прошел, время к вечеру. По-прежнему гудит бегущая машина, поскрипывает дощатый кузов. Но что-то еще слышится, похожее на далекое звучание грозы.

Щели справа.

Щели слева.

Обгорелый остов грузовика.

Далекие черные дымные столбы. Они встали над горизонтом и не расходятся, и при взгляде на них, необычных, растет тревога, сознание неотвязной беды, опасности.

И рокочет, рокочет приглушенный расстоянием гром без туч, без ливня.

Сворачивают с дороги машины. На ходу спрыгивают с них солдаты, бегут к щелям.

Отбегаем и мы от своей. Выключив мотор, оставляет кабину шофер. Припомнилась морская традиция: капитан последним покидает корабль.

Невысоко, с ноющим свистом, промчалось звено «мессершмиттов».

От дальних дымных столбов, придвинувшись к нам, гуще выступают

другие — черные, застывшие.

— Горит Тамань,— возвращаясь к машине, объявляет шофер.— А то,— он протягивает руку,— то горит Керчь. За проливом.

С машины, держась за кабину, силится увидеть Тамань.

Вот и встретились наконец. Впереди густые черные столбы, словно изпод земли, пока не открылись коробки дома с белеными известью стенами, купы деревьев, синева моря, сливающаяся с небом.

Было что-то угрожающее в молчаливо вскинутых дымах пожарищ.

Дорога расширилась, видать, каждый шофер искал здесь грунт потверже, поровнее, без выбоин, да и старался держаться поближе к краю, чтобы скорее свернуть за обочину. Хотя где тут обочина?

У въезда в Тамань, у первых домов и нечастых белых акаций со скудной тенью наши курсанты устроили привал. Рады, будто давно не виделись.

Тянет в город, приткнувшийся к морю, скорее бы пройти туда, к обрывам, к валунам у берега, отыскать бы хату... «Какую это хату?»— спрашиваю себя, понимая всю тщету, всю иллюзорность поиска, и не могу вот так начисто признать это и отказаться от того, чтобы не пробежать к обрывам, к последним домам над морем... Как же велико обаяние прочитанного еще в далекие школьные годы произведения!

Не сразу получаю разрешение пройти хотя бы до пристани. Ее бомбят и обстреливают. Враг может сбросить авиадесант, а то и десант с моря. Командиры рот, доставившие нас в пункт назначения, готовы уже отбыть отсюда.

— Требовать отправки туда, за пролив! — переходя от группы к группе, настаивает Иван Брагин. Он из города Георгиевска, откуда и я.

Учился в средней школе, где десять лет назад я преподавал обществоведение и историю, был моим учеником. В Тимашевское военно-политическое училище Крымфронта он попал с заведывания организационно-

инструкторским отделом Георгиевского райкома партии. Сейчас мы с ним в одном звании — политруки с тремя «кубарями» на воротнике празднично-парадной гимнастерки.

— Требовать! — горячится Брагин. У него не было, как у остальных, даже пистолета.

Эх, нет здесь с нами полкового комиссара!

...Пристань. На взморье тяжело отгруженный катер. Только что на подходе сюда его обстрелял «мессершмитт». Мы на суше скрылись в щели-укрытия, кто забежал в дома. Катеру некуда скрыться, почти черпая бортами неправдоподобные по окраске сине-голубые волны, он держал путь к пристани. Да движется ли катер — не стоит ли на месте? От пробоин и течи потерял ход?..

Память еще хранит и резкий, как у хищной птицы, бросок вражеского самолета, его бешеное мчание к катеру, пульсирующие вспышки пулеметного огня — и крутой взлет.

Бежим по изрытой, разорванной земле к пристани.

Едва раздвигая воду, пришвартовывается катер. Раненые с грязными повязками. Глаза лихорадочно блестят, у других, наоборот, они глубоко запали, темные. Заросшие черной щетиной скулы, щеки, подбородки.

Среди тех, кто сошел на берег, раненый с костылями. Обретя землю, он рывками кидал свое туловище вперед, все вперед, и ни разу не оглянулся — уходил изо всех сил.

И не один я с тяжелым чувством смотрел на этого раненого. Проводил его недолгим взором и моряк с катера. Глянул затем на меня, глаз в глаз — усталость, страшная усталость, словно окаменевшая в глазницах.

Кивнул на уходящего с костылями: «Видишь, как схватился, как побежал», — и в этих словах никакого обидного намека или насмешки, ведь там, за проливом, на кромке крымской земли, тысячи и тысячи таких же раненых, невывезенных, кого

безжалостно уносит смерть — от потери крови, заражения, вражеской бомбежки и обстрела. А сколько жертв принял Керченский пролив, приняло Черное море! Эти вот сверкающие, льющиеся в голубую туманную даль воды.

Сейчас я смотрю на них, вижу их, а когда-то давно на эти воды в их вечном, равнодушном ко всему живому движении смотрели глаза человека, создавшего рукотворное чудо — «Тамань».

На носилках выносят тяжелораненых, обессиленных, кто не может даже стоять.

Моряк искал глазами раненого с костылями, проводил его взглядом до поворота, помолчал. Берясь за канат, сказал ни к кому не обращаясь: «А нам снова на тот берег, на нашей переправе мы остались, кажись, одни».

КЕРЧЕНСКАЯ СЕЛЕДКА

Коменданту Тамани хватало хлопот на все двадцать четыре часа в сутки.

Возможно, он бы не обратил внимания на политрука Брагина в неубывающей толчее посетителей, да очень разноряженным предстал перед ним недавний курсант Тимашевского училища. Рассмотрев очередного посетителя, кто уже успел предъявить категорическое требование от лица всех прибывших незамедлительно отправить их на ту, крымскую сторону, — комендант и рассердился, и развеселился.

— Что-что? — повторил он, не веря услышанному, брови его приподнялись. — Предоставить плавающего средства? У меня выбор велик: двери, бревна, доски «бу», проще сказать, от заборов, от разобранных сараев, могу еще предложить бочки, повозочные ящики. — У коменданта расщерился рот, но смеха не получилось, последовало приказание, — Уматывайтесь, ребята, отсюда, пока не поздно.

Брагин продолжал стоять.

Комендант потер пальцами лоб, и потер переносицу, всей пятерней провел сверху вниз по лицу. Помотал

головой.

Брагин не уходил.

Комендант открыл глаза, придержал взгляд на посетителе.

— Отправляйтесь в Темрюк... Там сбор.

И занялся новыми посетителями.

...О том, чтобы идти походной колонной среди бела дня—не могло быть речи. Шли вразброд по двое, по трое, избегая белесопыльной дороги. Зачем привлекать к себе немецкие самолеты, они и так зудели над головами.

По утреннему холодку шагалось легко, ведь за ночь мы продрогли: спали на земле. Правда, после узнали — кое-кто блаженствовал на кроватях в комнатном тепле.

Проговорились об этом два земляка из Георгиевска: «торгаши», как определил их Брагин. В тоне, каким произнесено было единственное слово, звучала жесткость, где и осуждение, и ирония.

Надо сказать, у курсантов сильнейшим образом проявлялось чувство товарищества и равенства, одинаковости судьбы. В такой среде не могли, выражаясь по-моряцки, держаться на плаву любые формы эгоизма и личных выгод, стремление обойти и обогнать остальных. Но оба наши земляка из руководящих торговых работников еще в военкомате добивались назначения в тыловые службы, а прибыв в училище, начали задабривать командиров, что не могло пройти незамеченным. К этим двум наведывались жены, да не с пустыми руками — с чемоданами, корзинами, узлами. В станице подыскивалась хата, глядь — наши земляки не рядом на нарах, а схлопотали себе увольнительную: жены ведь приехали. Прознали курсанты — «замасливают» приезжие жены под видом приглашений на «семейные» обеды и ужины нужных им лиц. Курсантов, конечно, не приглашали. Эти приглашения и другое обозначались кратким выражением всех циников и ловкачей — «надо уметь». Подобных умельцев не мог не заметить полковой комиссар — и увольнительные и другие поблажки оказались пресечены. Нары

теперь не пустовали. Курсанты торжествовали, они чувствовали себя так, словно что-то наносное, ржавое на их суровом быте подверглось наждачной чистке, отчего и сами курсанты морально стали чище, по-человечески опрятнее, что возвышало их в собственном мнении. Один за всех, все за одного. Брагин мог переночевать в доме в единственно возможном случае — если бы ночлегом в домах обеспечены были все курсанты, да и то он предпочел бы самый неприметный домишко, а скорее и при этом, чтобы не стеснять хозяев, лег бы на дворе: люблю, мол, свежий воздух, крепче спится. Было в нем нечто аскетическое. Ограничивал себя в том, что является обычным.

В училище никто, кажется, не считал зазорным получить в столовой добавку, хотя это выпадало так редко, что выглядело вроде выигрыша по лотерейному билету. Брагин не обращался к повару, он называл это «клянченьем». При его высоком росте, старательности на занятиях, особенно требующих физических нагрузок, он испытывал при скудности питания большие, чем многие из нас, лишения. Но жалоб от него никто не слышал.

Иногда нас прорывали «плотоядные» воспоминания. «Какими борщами кормила мать!» — начинал кто-либо, вскинув брови и восхищенно вперяясь в лица товарищей. И шло изливание в таких выражениях, что им позавидовали бы рекламных дел мастера. Не сдержавшись, восклицал другой о неописуемых достоинствах домашних праздничных пирогов: «При одном взгляде, когда его подадут с пылу с жару, раздумянным,— слюнки во рту перекатываются. — Глаза у сидящих за столом останавливались, они видели только пирог, они взглядом ели, впивались в него. — А, черт!» — и следовал такой жест рукой, что сосед с опаской откидывался подальше. «А, черт!» — восклицал и он то ли в адрес пирога, то ли разошедшегося рассказчика.

«Эх, черти! — следовало со стороны Брагина, явно обращенное к

впавшим в яственный экстаз курсантам.— Вот так бы вы про пулемет рассказывали — с подъемом, как артисты на сцене...»

Коротко лучезарное утро с бодрящей прохладой. С каждым часом, да что там с часом — с каждой минутой нестерпимей палило солнце, сатанело лезли мухи и мошки, липли комары.

Ветер отгонял мошку и комаров. Но, внезапно подув и разогнав наших мучителей, он так же внезапно исчезал, или чуть-чуть шевелил воздух, как бы нехотя. «Мелочь пузатая»,— как обозвал мошек и комаров Брагин,— еще с большей остервенелостью набрасывалась на наши лица, руки, шеи, на все, что оказалось неприкрытым от укусов.

Пот не успевал высыхать — от него пощипывало веки и глаза, мокрели подмышки и воротники с подшитыми бязевыми подворотничками, следом мокрели спины, голова под плотной фуражкой с алым околышком. Да и что у нас могло быть сухим! Портянки из той же грубой бязи — хоть выжимай, а в тяжелом ботинке — как в парной. Ступня, лодыжки, икры под обмотками мокрые. Присядешь на привале — сквозь шаровары проступают мокрые пятна. «На что это похоже, а?» — стряхивая приставшую пыль и сухие соломинки, ворчал Брагин, кривя губы.

И самым последним наказанием для пехотинца объявилась потертость. Все безропотно переносит человек на собственном ходу — и плохо пригнанное, вовсе не по фигуре, обмундирование, и шинельную скатку с вещмешком, и ременный или грубоматерчатый пояс с малой саперной лопаткой в чехле, и непроницаемые для свежего воздуха гимнастерку и шаровары, и несгибаемые, будто из чугуна, ботинки с много раз клятыми обмотками (о котелке и баклажке, не говоря о самом оружии — говорить нечего: без них какой же может быть солдат!). Но потертость являлась сущим бедствием, проклятой напастью, наказанием за все грехи бывшие и в будущем.

Появлялась она исподволь в виде

еле приметного неудобства. Удрученный зноем, поклажей из всего, взваленного на пехотинца, не сразу спохватится он в предчувствии беды. До привала, хотя бы малого, еще надо идти, да и отставать не положено, да и не хочется отбиться от товарищей, к кому привык, с кем сжился, с кем все за одно, поравну,— вот и шагает, шагает.

Мы познали тебя в полную меру, солдатская дорога, от Тамани до Темрюка, вдоль Керченского пролива...

Не смолкала далекая гроза без туч.

Зудели в поднебесье чужие самолеты, рыскали с визгом и звоном, выслеживали по-ястребиному смертные цели, срывались пронзительно визжащими страшилищами, сеяли из-под узкого брюха бомбы или словно рвали с треском небесную ткань на лоскутья, били из авиационных крупнокалиберных.

Упав в разверстые под ногами щели, свалившись ничком на землю — в промоины, ямы, подвернувшуюся выемку, просто в траву там, где тебя захватил этот вой и треск, мы всей своей живой плотью ощущали, как наши спины прирастали к животам, как единственное билось желание — скрыться, уйти, уйти в землю...

И опять брели.

И не было ни у кого из нас даже пистолета.

И опять прыгали в щели, валились ничком на землю.

С нами не было полкового комиссара, он остался в училище. «Не теряйте головы!» — говорил в каждом из нас его негромкий голос, и каждый сверял себя, свои сегодняшние поступки с тем голосом — а не терял ли он головы, не лишился ли самообладания? Все ли его поступки оправданы и правильны? И собранней, строже становились мы перед лицом своей совести, перед лицом всех товарищей, кто рядом. И не спешили уже мы укрыться от всякого шныряющего в небе «немца». Приглядывались, какой он есть, как ведет себя. Враг всегда опасен, но не всегда видит тебя, метит в тебя. «Учеба в училище — всего-то начало, полное обучение пройдете на фронте»,—

напоминает знакомый голос. Мы еще не на фронте, по нашим понятиям фронт — это передовая, это огневые позиции пехоты, артиллеристов и минометчиков, а перед тобой на своих огневых позициях — враг. Сила против силы по закону: чья возьмет.

Бредем.

За козырек не дотрагивайся, если надо — снимаешь как бескозырную пилотку, прямо за верх, за тулью.

Кто держится поближе к воде, кто подальше, одни ушли вперед, другие отстали. Иногда соберется с полдесятка, а то и десяток — обмениваются походными скудными новостями и опять рассредоточатся.

Чаще всего слышится: «Во-здух!»

Крикнешь и ты, пойдет дальше.

Лучше при этом иметь под руками или, вернее, под ногами земляную щель с поворотом под прямым углом. Если щель не близко — пользуйся любым укрытием, помни — самолет тебе не пара в скорости; ты только поднатужился, только разбежался, а «мессер» уже тут как тут и с ходу полоснул короткой очередью. Едва ли ему понадобится вторая, да и промчал вражина дальше и пальнул в кого-то еще, зазевавшегося, нерасторопного.

«Зи-и-и...»

Тю, проклятый комар, показалось — на подлете «мессер».

Слева сине-голубое, зыбкое — Керченский пролив.

Льется-переливается, накатывается невысокими волнами на берег, вдоль которого мы идем.

Белая пена...

Какой белой, сверкающей выглядит эта прибойная пена, закипающая на гребне стремительной волны...

Слепящая белизна.

Что-то приковывает твой взор, настораживает. Ноги сами по себе сворачивают — ты под уклон сходишь к берегу.

Споткнулся раз, другой, попал в промоины.

Пена?..

Нет, не может это, слепящее бе-

лизной, быть пеной.

Пена вскипает вдруг, вырывается из накатывающейся волны, вспыхивает белыми пузырьками и исчезает, растворяется с откатывающейся водой. А это — недвижно, как и берег, повторяет его изгибы и слепит, слепит глаза...

Ускоряется шаг.

Не меркнет белизна, сверкает чистым серебром.

Да это — рыба! Это ее чешуя отликает под прямыми лучами солнца.

Сколько рыбы! Не видно прибрежной кромки земли, вся она уложена рыбой и не одним слоем, а навалом, горами. Будто гигантским неводом вытащили ее из пролива, притонили, как говорят рыбаки, да и оставили здесь, на песчаном краешке.

Не можем сдержаться — хватаем по рыбине, по две, они выскользывают из рук, шлепаются в серебряную грудку и не сразу успокаиваются — скользят, ворочаются, шлепают хвостами...

Неужели живая?

Груды некрупных, в пол-локтя, серебристых рыб. Как аппетитно выглядят их мясистые, жирные тушки. В котелок бы — эх и уха!

Откуда, каким путем оказалась здесь эта рыба?

— Совсем свежая, только что из воды,— голос Брагина.— Пропадает добро! Вы посмотрите — и здесь на берегу навалено перед нами, и там, и там...

Брагин переводит глаза от груды к грудке, тычет рукой.

— Пропадает,— горестно качает головой, морщит безусое и безбородое лицо, по-мальчишьи часто-часто мигает рыжими ресницами.

Верно, сколько людей можно накормить этой даровой, выброшенной на берег рыбой.

— От немецких авиабомб погибла,— заключает Брагин и грозит, грозит кулаком куда-то за пролив.

В первом же рыбацком домике вышедшая к калитке пожилая хозяйка подтвердила:

— Как же ей, нашей керченской

селедке, уцелеть, когда он,— женщина ткнула рукой, так же как Брагин, за пролив, туда, где не смолкала гроза без туч,— когда он закидал всю воду бомбами. И-и-и, не дай бог, что тут творилось! Сами чуть уцелели, от своих хат убежали подальше и жили, как кроты, в земле — по ямам, по щелям да в погребках. Натерпелись страху.

И, переводя разговор, спросила:

— А вы на Темрюк? Идут и идут, дня мало — идут ночью. Значит, на отход пошли. А до этого весь народ туда, на Керчь, шел-ехал без конца и края.

И вздохнула, примолкла. Брагин ответил за всех:

— И туда шли и сюда идем,— война. То мы его, то он нас, такое это дело — война.— Посмотрел на женщину, очень, видать, хотелось ему утешить незнакомую, впервые увиденную керченскую рыбачку, к чьему двору подошла война. И как ее утешить, какими словами успокоить? Жалкими нельзя, но и от других слов выйдет ли польза?

— Я еще к вам в гости приду,— сами собой вырвались слова.— Вы меня тогда угостите селедочкой домашнего посола?

— Заходите, заходите разом — не первому.

— Спасибо, только не сейчас.

Да, рано еще было нам пользоваться правами гостя, садиться за праздничный стол.

ПЕРВЫЙ ПОЛИТРУК МАРШЕВОЙ РОТЫ

Ночью было легче. И не столько по той причине, что не пекло нас солнце, сколько оттого, что с темнотой терялось ощущение постоянной угрозы от вражеской авиации. Можно всем собраться и дальше двигаться, если и не походной колонной, то кучно, группами. Как называл Брагин — цыганским маршем.

Одна из ночевок пришлась на окраину станицы Анастасиевской. Ощупывая землю руками, каждый хотел отыскать местечко посуше. Кто надергает

травы, положит под голову, кто сумку с противогазом. Слышен смех и чья-то ругань — оказывается, любитель мягкой травки сунулся в крапиву.

Днем каждый поругивал противогаз, считал его лишней обузой. Хотя в «теории» признавали полезность противогаза. От фашиста, мол, всего ждать можно, тем более, что еще до всякого фашизма немцы первыми внезапно применили удушливые газы против нашего брата, русских солдат, на западном фронте, еще в ту войну. Пока же лучшее применение для противогаза видели в том, что он хотя не подушка, но голова не на голой земле лежит, и за то спасибо. К противогазу в сумку совали пачку махорки, бритвенный прибор с мыльницей и зеркальцем, а кто и что-либо из неприкосновенного запаса, чаще консервную банку.

Допекали той ночью под Анастасиевской проклятые комары. Укроешь чем придется лицо — натянешь фуражку до самого носа, а то и до подбородка, полотенцем или запасной портянкой обмотаешь голову: кровопивец все равно отыщет лазейку. Иной от комариного писка вскинется как ужаленный, а другого припечет злодей в самое, что ни на есть болезненное место.

Перед утром начал донимать холод, и не проснешься, а вертишься да ежишься, в комок скрючит тебя. И тут чувствую — приваливается кто-то, спина к спине, что-то сверху накидывает. Откуда тепло взялось. Спал бы и спал, будто и комарья поменело.

Когда развиднелось — раскрыл глаза, а рядом приподнял стриженую голову Брагин, осматривается и вдруг как вскочит: «Подъе-ем!»

Добрались до Темрюка. Отсюда—в Краснодар. Разместились в авиагородке. В меню появился рис.

— Пора нас в дело пускать,— нудится Брагин, места себе не найдет. У репродукторов постоит, свежие газеты достанет, а чаще всего в отделе топчется, где командиры и политработники получают новые назначения.

Казалось, уже нечему сбавляться в

костистом теле Брагина, а глянешь на него невзначай, тем более сбоку — шея торчит палкой, посередке кадык выпирает, подбородок заострился, вот разве уши больше стали, да не может того быть, возраст не мальчишый, чтобы расти. Просто захудобел от всяких думок-забот.

Сводки Совинформбюро когда-когда порадуют названиями отбитых у врага населенных пунктов. Для густоты любая деревня, любой хутор упомянутся в той радостной сводке. Но очень редки такие сводки, да хорошо, если говорится про то, что существенных изменений на фронтах не произошло. А то напирают то в одном, то в другом месте немцы при поддержке танков и авиации.

— И чего держат в этом авиа-городке,— в какой уже раз слышим от Брагина.

Явится из отдела злой-презлой. Оказывается, схватился с каким-то начальником — чего, мол, задерживаете! И еще чего-то наговорил. На этот раз обошлось.

Молчит Брагин и час, и два. Взглядом загвоздился в стену, ни вправо, ни влево не поведет глазом. Лишь коленки сцепил длинными руками.

Самый бы раз ему затянуться поглубже, да не курит, все об этом знаем. И все-таки не стерпел один — распалил самокрутку, протянул ее Брагину, а он смотрит куда-то по-прежнему и не замечает ни протянутой руки, ни табачной самокрутки. «Не мешай человеку!» — цыкнули на доброхота. «Да я ничего... я так...» — смутился он под нашими взглядами.

Больше не припомним случая, чтобы Брагин вот так сам в себя замыкался. Всегда он на виду, всюду его увидишь и услышишь. Компанейский, общительный. Вот только с теми двумя, кого он в сердцах обозвал торгашами, не ладилась у него отношения. Да и они, двое, сторонились Брагина, чужаками держались, хотя все трое из одного города и не один год знали друг друга, и на улице и на собраниях, на совещаниях всяких встречались. «И чего ему надо больше всех,— услышал я как-то от них.— Ну,

держат нас в резерве, так что? Начальство знает, что делает. Забыл — тут ему. Брагину, не райком, не оргинструкторский отдел. Это там он своими инструкциями распоряжался, а тут сам подчиняйся, знай сверчок свой шесток».

Всякое говорили, и с ехидцей, с подковыркой, с наветом, изгряняя неприятного им человека, но делали это по-за углами, а в лицо только улыбочки да проходные, незапоминающиеся разговоры. «Успеем еще,— шерится из-за губ.— Чего в пекло лезть? Ну, не правда, что ль?!»

В пекло...

Прибегает после обычного посещения отдела кадров Брагин в большом возбуждении — глаза блестят, по всему лицу и по лбу красные, словно обварные пятна, эти пятна и на ушах с конопелью, длинными руками размахивает, а ногами-ходулями так шагает, вон где был — и уже рядом. Ощерился белозубьем, фуражку с красным околышем сорвал и на-попа подкинул, норовит теперь, чтоб она упала ему прямо на голову.

— Айда-а! — на татарский манер кричит.— Аллюр три креста за назначением. Все в отдел, все-е!

Предписание показывает — назначен политруком маршевой роты.

С рук в руки переходит бумажка — и уже торопятся, уже спешат бывшие курсанты-тимашевцы, кто пошустрее — обгоняет увальней, по пути толкнут-заденут, словцом подстегнут.

— Нехватишь предписание, на мне выдача закончится!

— В столовую одним махом, а за назначением — с охом, с ахом!

Брагин с вещмешком, сумкой-противогазом возится, все свое солдатское имущество на себе прилаживает. Да что там прилаживать? Сунул зубную щетку с мятным порошком в сумку, туда же пару брошюр,— и уже сумка слева на боку, а вещмешок на горбу.

— Не забудьте сухой паек,— крикнул на ходу.

Таким и запомнился Иван Брагин, первый политрук маршевой стрелковой

роты — обрадованный, спешащий. Еще не видя роту, не зная о ней ничего, он торопился в свое подразделение, скорее приступить к прямым обязанностям политрука. «Знать в лицо каждого бойца, откуда родом, что ему пишут, какое его настроение, на что он способен в бою», — наставлял, бывало, полковой комиссар, кто сам преолично знал в лицо и пофамильно, по имени любого из нас, наши моральные, политические устои и боевые качества — как себя поведем на переднем крае войны перед лицом беспощадного врага, кому фюрером приказано комиссаров и политруков расстреливать на месте, в плен не брать.

«Мне бы только до передовой, до живого гитлеровца!» — прорывало иногда Брагина, глаза при этом становились у него пронзительнее, он поочередно обжимал пальцы, казалось, переламывал их с сухим коротким треском.

Лето 1942 года.

Тараня нашу оборону, танковый клин фельдмаршала фон-Клейста рвется снова к Ростову над Доном-рекой.